

Братья
Швальнеры

Гоголь. Вий

Не выходи из круга

Братья Швальнеры

Гоголь. Вий. Не выходи из круга

«Издательские решения»

Братья Швальнеры

Гоголь. Вий. Не выходи из круга / Братья Швальнеры —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907909-1

Фильм «Гоголь. Вий» недаром приковал внимание зрителей еще до своего выхода — попытки замахнуться на классика всегда были у нас в почете. Однако, что, если это не обычная попытка, а основанная на фактах версия объяснения жутких событий, в реальности происходивших с писателем при жизни? Но почему Гоголь уверовал в нее и решил придать гласности? Не от страха ли, возникшего после его личного столкновения лицом к лицу со злом, имя которому Вий?!

ISBN 978-5-44-907909-1

© Братья Швальнеры
© Издательские решения

Содержание

Пролог	9
Глава первая. Болезнь	14
Глава вторая. Бастард	23
Глава третья. Душа поэтов	29
Глава четвертая. Роман в письмах	36
Глава пятая. «Мученики ада»	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Гоголь. Вий Не выходи из круга

Братья Швальнеры

Дизайнер обложки Братья Швальнеры

Иллюстратор Братья Швальнеры

© Братья Швальнеры, 2018

© Братья Швальнеры, дизайн обложки, 2018

© Братья Швальнеры, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-7909-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Н. Гоголь



Вике Зволинской, с любовью

Авторы

*Все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри.
Только по сравнению с Гоголем Пушкин – сам пузырь.*

Даниил Хармс

Пролог

Май 1931 года, Москва

Сказать правду, заместитель заведующего кафедрой истории литературы Первого МГУ профессор Лидин не ждал ничего хорошего от встречи с Кагановичем, на которую был вызван сегодня в строгой форме путем звонка первого секретаря МГК его руководству. Человек, далекий от власти и вообще управления в любой его форме, интереса для начальства обычно не представляет, и потому, по старой русской традиции, вызвать его могут только для того, чтобы дать выволочку или в чем-то обвинить. Во всяком случае, с начала года уже человек 5 профессоров МГУ – правда, из числа старой гвардии, работавшей еще с царских времен – были отправлены под следствие по подозрению в шпионаже. Грешным делом, и самого Лидина начали было посещать подобные мысли, но в общем, как он сам после рассудил, они были абсурдны – если его в чем и подозревают, то зачем был вызывали в МГК? Тогда бы уж сразу по подведомственности – в НКВД или еще куда. Какое отношение первый секретарь МГК имеет к работе правоохранительных органов? Хотя и к тому, что ничего нет невозможного в стране, где сказка практически уже стала былью, профессор Лидин был готов – арестовать запросто могли и в кабинете Кагановича. Однако, за неявкой уж точно последовала бы взбучка, а потому после обеда профессор Лидин, скрепя сердце, отправился на высочайшую аудиенцию.

К его удивлению, о том, что Каганович вызвал его, никто в партийной организации ничего не знал. У всех были свои заботы и дела, что немного успокоило профессора – если бы его в чем-то заподозрили, то уж наверняка в такой маленькой организации, как горком только об этом бы и судачили. Поднявшись вверх, профессор разместился в до отказа набитой людьми приемной первого секретаря, записался у барышни возле телефона и стал терпеливо ждать. По количеству посетителей было понятно, что прием состоится в лучшем случае за полночь, однако, к его великому удивлению, Каганович, едва услышав, что он пришел сразу велел его пригласить.

– Добрый день, Владимир Германович, проходите, присаживайтесь, – всемогущий и все- сильный Каганович, член сталинского ближнего круга, который, хоть и был земляком Лидина, но казалось, жил на другой планете и вообще в другом мире, был необычайно вежлив. Лидина это сразу подкупило.

– Благодарю вас, Лазарь Моисеевич.

– Как ваше творчество?

– Да какое там творчество... Забросил практически... Времени нет, все дни провожу в университете, занимаюсь организационными вопросами, строительством. Не до служенья муз...

– Напрасно! Я вот читал некоторые ваши вещи, «Голубое руно», например. Очень емко и красиво раскрывает картину Гражданской войны. Сейчас, знаете ли, всякие Бабели да Булгаковы очернить пытаются, ревизии подвергнуть. Будто бы не было там ничего замечательного, никаких подвигов, ничего. А вы очень привлекательно обо всем пишете. Сразу видно, что для вас как для фронтовика военные воспоминания особенно теплы и приятны. И оттого делитесь вы ими с читателем с такой любовью, что волей-неволей даже после Бабеля проникаешься духом революционной романтики и патриотизма. Вам, товарищ Лидин, непременно надо писать.

– Спасибо за высокую оценку, Лазарь Моисеевич...

– Это аванс, – улыбнулся в усы партийный бонза. – В действительности же ваши работы произвели на меня впечатление как на коммуниста. Вы – коммунист, человек, преданный делу партии. И потому партия поручает вам ответственное задание, которое не каждому из ваших

собратьев по перу да и по университету может поручить. Видите ли, тут нужны будут ваши качества как ученого-филолога, писателя и настоящего коммуниста одновременно. Согласитесь, в наши времена растущей демократии сложно такого отыскать. А товарищ Сталин мне строго-настрого приказал: найди! Неделю я перелопачивал ваши институтские кадры, и остановился вот на вас...

– Еще раз спасибо, но о чем речь?

– Слышали ли вы что-нибудь о разгроме... прекращении деятельности Данилова монастыря под Москвой?

– Краем уха. В прессе скудно писали, что не попал под ленинскую кампанию национализации церковных ценностей, и в прошлом, кажется, году его реквизиция существенно пополнила истощенный коллективизацией бюджет...

– Ну вот видите. А говорите: «краем уха». Так вот. В прошлом году обнаружили мы там огромное количество вещей, представляющих историческую ценность, реквизировать или просто национализировать которые без потерь для их состояния не удастся. Ряд из них мы передали профильным специалистам – в музеи, художественные галереи, экспозиции. Кое-что, что представляло ценность для эмигрировавших дворянских фамилий, продали им на запад – реализовать здесь все равно бы не вышло, а так все же пополнение казны. Среди них обнаружили мы могилу писателя Гоголя, которую по эстетическим и этическим соображениям не сочли возможным сравнить с землей, хотя такая участь постигла все монастырское кладбище.

– А почему для Гоголя исключение? Насколько я помню, лет 10 назад или 5, его произведения были включены в «циркуляр Крупской» и запрещены к прочтению в России?!

– Крупская – еще не вся партия. А при определенных обстоятельствах, очень может быть, что и вовсе не партия. А товарищ Сталин, например, ценит ту едкую и емкую сатиру, которой Гоголь в свое время подвергал общество, в котором он жил, в самых разных его пластах. По его мнению, писателю такого масштаба надлежало иметь немалое мужество, чтобы писать и публиковать такое. Постоянный негласный надзор полиции, установленный за ним в Петербурге после знакомства с Пушкиным и продлившийся едва ли не до конца жизни – ярчайшее тому подтверждение. Так что книги его мы вскоре вернем и в школьные программы, и на прилавки. И понятно, что прах столь дорогого для СССР писателя не может просто так без надзора валяться в лесу, в который вскоре превратятся руины бывшего Данилова монастыря. Понимаете? Мы решили перезахоронить его на Новодевичьем кладбище. И потому вам как специалисту, в том числе, по творчеству этого замечательного писателя, поручается создать комиссию по перезахоронению, которая в ближайшие дни должна отправиться к месту дислокации могилы, эксгумировать ее и сопроводить останки на кладбище, где они будут приняты и захоронены по акту. При выполнении данного поручения вам разрешается набирать специалистов того профиля и количества, какие сочтете нужными – всем все будет оплачено, приказы об освобождении от работы на время деятельности комиссии будут исходить лично от меня. И еще. Один важный момент вам передать поручил мне лично товарищ Сталин. Надгробье Гоголя состоит из различных геометрических фигур и надписей, которые вы увидите по приезде. Так вот желательно было бы, чтобы все его надгробье, вся лицевая часть были сохранены в первозданном виде – с тем, чтобы на Новодевичьем мы смогли не просто осуществить захоронение останков, а, сохранив внешний вид могилы и кургана, показать всем, что крайне уважаем как самого писателя, так и связанные с ним исторические традиции.¹

Под конец рабочего дня профессор Лидин явился к декану факультета, доктору исторических наук Леониду Ивановичу Сметанникову со служебной запиской, уже завизирован-

¹ Могила Гоголя // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. СПб. Типография А. С. Суворина. 1886. Т. 24. С. 112—119

ной Кагановичем, в которой излагалась суть работы и предлагался состав комиссии, в которую Лидин включил студентов старших курсов. Вчитываясь в нее, Сметанников проворчал:

– Ну что ж, Гоголь – это интересно. Только учти, что увидеть там ты можешь всякое, и не всему всегда отыщешь логическое объяснение.

– Что, например?

– Например, следы жизни в гробу. После его захоронения местные крестьяне, жившие в Даниловом монастыре, якобы слышали стенания, доносящиеся из-под земли в том самом месте, где был зарыт гроб... – профессор говорил нарочито мистическим, тихим голосом. На Лидина это не произвело впечатления:

– Абсурд. С такой глубины и такой плотности земляного материала, под которыми погребен прах, даже при большом желании и наличии каких-нибудь эхолотов ничего услышать невозможно!

– Тут ты прав. Однако, многие современники действительно поминают охватившую Гоголя при жизни боязнь быть похороненным заживо.² И потом обстоятельства погребения также наводят на мысли – врачом осмотрен не был, похоронили за полдня, а смерть констатировал полуграмотный и вороватый слуга Семен, который после смерти писателя присвоил все сколько-нибудь ценные его вещи...

– Но кому и зачем потребовалось хоронить его живым? Не такой уж он был едкий политический сатирик, чтобы действующая власть решилась расправиться с ним подобным образом...

– А кто был его любимый поэт, помнишь? Пушкин! А что о нем и его смерти было написано в свое время Лермонтовым: «Есть божий суд, наперники разврата!»

– Что вы имеете в виду?

– А то, что, быть может, не земная власть царя, а некая высшая власть иного властителя, куда более могущественного, рассудила ему такую судьбу и такую смерть...

– Но за что???

– Как знать, как знать. Быть может, твоя экспедиция и поможет тебе ответить на эти вопросы...

Еще пара дней ушла у Владимира Германовича на согласование состава комиссии и подписание всяких организационных приказов – связанных с выделением машины, топлива, освобождением студентов от занятий. Те его выпускники, которые на лекциях и семинарах Лидина проявили наибольший интерес к Гоголю и продемонстрировали наивысшие показатели знания его жизни и творчества, охотно согласились помочь своему научному руководителю в сложной и интересной работе. Однако, все нужно было технически подготовить – на Новодевичьем, буквально взрывающемся от количества работы, ничего не слышали об указании Кагановича и потому не приготовили место для могилы писателя, что сдвинуло начало экспедиции Владимира Германовича на несколько дней. Потом на два дня зарядили дожди, во время которых земляные работы были обречены на провал – и только в последний майский день экспедиции профессора суждено было достичь сих сирых мест.

А места тут были чудные – ближнее Подмосковье, девственный лес, свежайший и кристально чистый воздух. Да и почвы были черноземные – монастыри, которые, как известно, в царские времена относились к крупнейшим землевладельцам, абы какие почвы бы для себя не подобрали. Сырыми же эти места можно было назвать из-за судьбы их – простившись с монастырем, многолетние его батраки да прихожане, принявшие активное участие в его разграблении, остались без куска хлеба и без работы. До того, как воздвигнут здесь какое-нибудь производство, надо еще дожить, а любая кража при реквизиции церковных ценностей прирав-

² Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. – Статья из журнала «Вопросы философии и психологии», 1903. №66, 67, 68, 69, 70; 1904. №71..

нивалась к хищению социалистической собственности и каралась в пору «закона о пяти колосках» расстрелом. Так что спервоначалу охвативший местных жителей энтузиазм по «экспроприации экспроприаторов» очень скоро обернулся хандрой, алкоголизмом и грабежами среди своих.

Несмотря на явный атеизм и бедность местных жителей, Лидину составило немало труда найти добровольцев на вскрытие могилы писателя. Атеизм, когда он ненаучный, всегда соседствует с темнотой и предрассудками, и потому жители окрестностей монастыря, которые еще несколько лет назад составляли его паству, памятуя закоснелые обычаи не трогать прах умерших, наотрез отказывались выполнять партийное задание. Наконец, троицу молодых алкоголиков все же удалось к тому уговорить, не только посулив изрядную порцию спиртного, но и пригрозив расстрелом и все время поминая фамилию Кагановича. Зато посмотреть на вскрытие гроба, по местным преданиям, много лет притягивавшего всевозможную нечисть и недобрые предзнаменования накануне самых трагических и кровопролитных событий в истории страны, собралась вся округа. Старики нервничали и все время говорили о наказании, которое, по выдуманному ими самими преданию, постигнет нарушителя покоя могилы дьявольского писателя. Молодежь слушала их и желала лично убедиться в том, как профессора Лидина и его товарищей «разразит гром».

Сама могила представляла собой, скорее, мемориал и место поклонения, нежели, чем обычное захоронение. Над ней возвышался небольшой курган, увенчанный внушительным деревянным крестом, почерневшим и местами истлевшим от времени – так называемой «голгофой». Со всех сторон красовались здесь выдержки из Евангелия, писанные старорусскими буквами. Когда «голгофу» ломачи своротили с места, сидевшая на ней ворона даже не шелохнулась – будто приросла к этому магическому надгробью или вовсе ее хватил удар. Между тем, глаза боятся, а руки делают – и вскоре копатели уже соорудили рядом с местом захоронения порядочную гору из земли, исчезнув на глубине человеческого роста. Велико же было удивление профессора, когда получасовые раскопки не принесли ожидаемого результата – гроба писателя тут не было.

– А куда же он мог деться? – вопрошал Владимир Германович, искренне жалея того сумасброда, который, зная о «каре небесной», все же опередил их и выкопал останки писателя много лет назад.

– Никуда. Точно говорю, все здесь, – говорил дед Анфимий, один из местных старожилов, горячо протестовавший против затеи секретаря МГК. – Все этой могилы боялись. Мне дед еще сказывал, что ее лучше стороной обходить, и, хоть место святое, в могиле – истинный крест – сатана лежит. Если бы кто подошел или задумал чего, мы бы знали, чай больше полувека здесь живем.

На сей раз Лидин поверил старику и велел продолжать земляные работы. Еще через полчаса работники ушли на глубину четырех метров, а голоса их на поверхности перестали слышать. Чтобы поднимать отработанную землю, соорудили даже самодельный кран с ведрами и рычагом силы, а число копателей увеличили вдвое. Но и час спустя никаких следов гроба писателя в земле обнаружено не было.

Стемнело. Лидин злился, но работ останавливать не велел, увеличив за собственный счет алкогольное вознаграждение работникам в четыре раза. Ни один человек не ушел с места ведения земляных работ, и только Анфимий пуще прежнего причитал и молился.

– Истинно говорю вам, до преисподней докопаетесь. Сатана посланника своего вниз, к себе утащил, – бормотал безумный старик, чем только сильнее злил ученого. Наконец, к полуночи гроб был обнаружен и, с величайшим трудом, поднят на поверхность. Вскрывать его команды не было, следовало водрузить его на авто и доставить на Новодевичье кладбище, где уж предадут его земле без участия посторонних, но вот беда – от старости или усилий, с которыми уставшие копатели молотили лопатами по земле, от гроба отошла крышка. В таком виде

везти мощи русского классика было нельзя, и потому Лидин велел прибить ее по новой. Старика в ужасе разбежались, хватаясь за сердца.

– Нельзя, нельзя без священника отворять обитель зла сию...

– Где же я вам священника найду?! – злился и вопрошал Лидин. – Сами всех после закрытия монастыря разогнали да поубивали.



Могила Гоголя на Новодевичьем кладбище

Вопрос был риторическим, крышку все-таки пришлось снять. Профессор был атеистом, героем Гражданской войны, и потому осенять себя крестным знаменем ему не пристало, но и он не удержался от сего рудиментарного обычая, когда крышку подняли. Правы ли были старики, или кто-то в течение более, чем столетнего лежания здесь трупа все же решился нарушить его покой, а головы у трупа писателя, одетого в истлевший сюртук, не было...³

³ Лидин В. Перенесение праха Н. В. Гоголя – ФЭБ, 1994.

Глава первая. Болезнь

Весна 1845 года, Малороссия

Поезд двигался медленно и, казалось, чем ближе подъезжал он к Киеву, тем более тихим становилось движение состава. Мерный стук колес располагал ко сну, но болезненное состояние Николая Васильевича не позволяло ему забыть в объятиях Морфея, да и периодические толчки на горках нарушали стабильность движения, вагоны раскачивались, сцепка дергалась, и сон сходил, но буквально ненадолго – очень скоро слабое, едва различимое движение снова наводило сон на истощенных ранней весной пассажиров. Пришла она в этом году и впрямь слишком рано, как будто без предупреждения, роль которого всегда исполнял март – он и прошел как-то быстро, и встречен был Николаем Васильевичем в Иерусалиме, где жара стоит круглый год, и потому знаменитое правило «марток – надевай сорок порток» было здесь неактуально. Резкий переход от зимы к теплоте времени года способствовал перепаду температур в ослабленном зимними болезнями организме Николая Васильевича, что не могло положительно сказаться на его здоровье – в Палестине на него напала горячка, очень скоро превратившаяся в малярию по причине несвоевременного лечения. Оттого, возвращаясь сейчас в малороссийское тепло, что царило не только в имении его матери, но и за его обширными пределами, не мог он ощутить его в полной мере и насладиться, как это бывало прежде, в дни безмятежной юности его. Болезнь прогрессировала, а к лечению больной относился, что называется, спустя рукава, потому симптомы ее проявлялись все более. Снаружи тело его обдавало холодом, морозило, а изнутри жарило так, что сил не было. Николай Васильевич верил еще в глубине души, что родные места с их благоприятным климатом будут способствовать его выздоровлению, но вообще в последние дни думал о своем состоянии все меньше и меньше – апатия завладела им целиком еще там, в Иерусалиме. Быть может, болезнь таким способом проявляла себя, а может, просто он устал от своих мытарств и частого изменения жизненных обстоятельств, но напавшая на него меланхолия притупила как желание скорейшего выздоровления, так и желание жить вообще – во всяком случае, так он иногда думал. Мысли эти чаще стали появляться в более, чем некомфортном поезде, который вообще лишал душевного настроения и возможности сосредоточиться на чем-либо созидательном. Если бы не настоящие слуги Семена и упрямые письма матери, беспокоящейся о состоянии здоровья сына, сил бы он не наскреб на эту поездку, которая даже после трехдневного путешествия по железной дороге была еще в середине своей.

Однако, не все было так плохо. Три дня мучительных разъездов все же подошли к концу – и вскоре за окнами замелькали знакомые киевские пейзажи, которые немного оживили утомленный и болезненный взор Николая Васильевича, и ему на мгновение даже показалось, что болезнь отступает и ему становится как будто легче. Прошло полчаса – и пассажир сошел на благодатную малороссийскую землю в главном городе этой удивительной земли. У станционного смотрителя сразу взяты были обывательские лошади, на которых и пришлось следовать ему весь путь до Полтавы. Минутное облегчение было лишь кажущимся – ибо следование даже не по дорогам, а по лесистым просекам в маленькой душевной карете нездоровому человеку могло показаться еще более мучительным. Однако, поездка по железной дороге так утомила его, что, едва только сев в карету, которая первую часть пути следовала по мощным киевским мостовым, ехать по которым в любое время года – одно удовольствие, он сразу заснул и проспал так до самого вечера, когда до Полтавы оставалось несколько десятков верст. Уставшему Николаю Васильевичу хотелось бы, чтобы остаток пути они проделали без остановок, и он скорее смог бы по-человечески отдохнуть в родных пенатах, но еще более уставший слуга настоял

на том, чтобы ночь провести на постоялом дворе вблизи имения его матери. Сон несколько облегчил состояние больного, он стал добр и уступчив и потому согласился.

Сойдя с каретных подмостков, он вдохнул полной грудью тот чудесный чистый воздух, коего не было ни в заснеженном Петербурге, когда покидал его, ни в жарком и пыльном песчаном Иерусалиме. И впрямь, права была мать, когда говорила, что здесь болезнь наконец оставит его. Николай Васильевич улыбнулся, глядя на бегающих взад-вперед с его вещами слуг, которые размещали чемоданы в выделенной писателю комнате, на горящие костры и факелы, освещавшие темный двор так, что светло было, как днем, и вдыхая наряду со свежим воздухом Полтавщины запах жареных поросят и только что выгнанной горилки.

Скоро они с Семеном сидели уже за столом в шинке на постоялом дворе. Изголодавшийся с дороги и порядком уставший Семен ел от пуза и так же обильно пил, чего нельзя было сказать о Николае Васильевиче, который ел мало, так как опасался желудочного расстройства. Внутренности у него были и без того слабые, а тут еще эта болезнь совсем некстати. Хинин, который писатель был вынужден принимать и который, казалось, совсем не помогал от болезни, другого лекарства от которой просто не было выдумано, расстраивал кишечник, и переедание могло быть для писателя чревато. Однако, немного горилки он все же себе позволил. Обычно она действовала на него угнетающе и плохо, от нее сразу клонило в сон и тошнило, а сегодня едва отходящий от болезни Николай Васильевич сразу захмелел и даже повеселел после возлияния.

За соседним столом сидел бурсак, отправлявшийся домой на вакансии, в окружении каких-то казаков, тоже, по всей видимости, из дворни здешнего боярства. Они уже были порядком пьяны – ученики церковных школ, с малолетства воспитуемые только березовыми палками, при малейшей возможности напивались чернее государевой шляпы, чем немало расстроили сейчас взгляд набожного писателя. Меж тем, в этом был закон жизни, который великий Александр Иванович Герцен сформулировал как «правило пружины» – простой русский человек, измученный работой крестьянин или батрак, всю неделю ломавший да гнувший спину на хозяина, под конец седмицы распрямляется так, как распрямляется железная пружина, на которую сначала долго-долго давят, а после отпускают пресс. Выгибаясь в обратную сторону, бьет эта пружина всех, кого ни попадя – как может запросто ударить любого зеваку увлекшийся горилкой бурсак, – потому что знает, что уже утром снова терпеть ей этот гнет. Воспоминание о словах знаменитого философа заставило Николая Васильевича по-другому, с пониманием и даже некоторым сожалением посмотреть на пьющего, которого его товарищи все пытали:

– А я хочу знать, чему вас в бурсе учат?!⁴

Писатель слушал их пьяную речь и понимал, что верно его предположение, сделанное по внешнему виду облаченного в жупан и стриженного на манер древни французских рыцарей школяра. Тот, хоть и был порядочно пьян, решил продемонстрировать свои умения – поставив полную чарку горилки на нос, наклонив голову назад на столько, на сколько хватало только возможностей, он вдруг резко выпрямился, чарка слетела с его лица, но была поймана его не менее проворными губами – и вмиг осушена да так, что, как говорил поэт, по усам текло, да в рот не попало.

Заулюлюкали, оценили его товарищи такое мастерство, и, несмотря на старый возраст свой, наперебой стали высказывать пожелания об устройстве собственной судьбы и разума:

– Я тоже пойду в бурсу!

– И я!

– И я – кто ж еще такому обучит, как не пан ректор?!

Громко смеялись, и не слышал за их смехом Николай Васильевич речи своего, обычно не умолкавшего, молодого слуги, а, когда повернул голову направо от себя, где сидел Семен, то

⁴ Гоголь Н. В. Вий (сборник). М., Издательство: «Эксмо» 2014 г. ISBN: 978-5-699-69140-1

увидел его спящего. Потряс его за рукав для приличия – не откликается, устал сильно. Николай Васильевич велел отнести слугу в людскую, а сам отправился к себе.

Сон не шел, он решил сотворить молитву, в которой вознести хвалу Господу. Болезнь, что настигла его в святом месте, не ослабила его веры, не сбила с пути истинного, на который он, как ему казалось, только-только начинает вставать после многолетних поисков себя. И никогда, ни в одном своем обращении к Господу, не просил он о своем здоровье, полагая его сугубо божьим промыслом и вообще недостойным каких-либо просьб.

«Конечно, католикам дается больше воли, в том числе в быту и обиходе, нежели, чем православным, – размышлял Николай Васильевич, стоя на коленях пред иконой в тускло освещенной, темной комнатке, выделенной ему хозяйкой постоянного двора для ночевки. – Но все равно вера их не вполне такая, какой задумывал истинное служение Господь наш. Более походит она на театральную игру, в которой у каждого – своя роль, свой удел, который напрямую зависит от социального твоего положения и кармана. А будет удел иным – и слова иными станут, и роль изменится. Не искренне, не живо. Иное дело вера наша, православная, которая мне, хоть по праву рождения и не положена, а все же исповедуется мной. Ну какой я Яновский? Я Гоголь, я русский человек, который и состоялся, и жизнь прожил, и прозрел в России, и не могу и не хочу от нее отрываться. Хоть и люблю Малороссию, а все же саму великую родину ни на нее, ни на что другое не променяю...»

Он осенял себя крестным знаменем снова и снова, бился лбом в грязный пол постоянного двора, пока не начало светать, не утомился он окончательно и заснул, едва сумев дойти до кровати. Таким образом, планы Семена выехать пораньше, с петухами, были обречены – барин спал до самого обеда, а будить его, больного и все еще не собравшегося с силами, слуга считал невозможным. Воспользовавшись временем, слуга опохмелился, заложил карету, уложил в нее вещи барина и стал дожидаться его пробуждения под большой липой, что росла в самом центре двора, где обдувал его свежий весенний ветер, выгоняя из головы усталость и тяжелые мысли и наполняя ее мыслями светлыми.

Ах, и до чего же чудесная и славная эта земля – Малороссия! В ту пору, когда природа сбрасывает с себя оковы зимы и зацветает вся, благоухает торжеством весны и обновления всего живого, что ходит по земле, растет на ней, питается ее соками, любому, кто приедет сюда, покажется на время, что он попал в рай еще при жизни. Не увидеть здесь однообразия черноземной Руси, ее похожих друг на друга степных равнин, раскинувшихся на сотни верст, ее одинаковых деревьев, ее узких и извилистых рек. Каждая верста, что проедешь ты, пока следуешь по Малороссии, не похожа на другую – и каждая по-своему прекрасна. Словно в волшебной стране оказался Николай Васильевич, одно созерцание которой изгоняло мысли о болезни, и сама она отступала не по дням, а по часам – вот уж правду говорят, что вся болезнь только и сосредоточена, что в головах наших, и только оттуда руководит нашим организмом и сознанием, делая их словно бы зависимыми от нее. А коснись излечения интеллектуального, мысленного – как сразу болезнь наружная отступит, не оставив о себе скверного напоминания, пока схожие пейзажи вновь не внушат его человеку, единожды заболевшему в каких-нибудь недобрых краях.

– Николенька, наконец-то! Как же заждалась...



Отец писателя, Василий Афанасьевич



Мать писателя, Мария Ивановна (Яновна) Яновская

Мать Николая Васильевича, Мария Яновна, была женщиной кроткого нрава – во многом, наверное, потому, что покойный отец его таковым не отличался. Он был мужчина резкий, властный, сложно шедший на уступки – то говорили в нем его корни польского происхождения, да и дворянская кровь не позволяла быть добрым и степенным, хоть и располагали к этому дивные по красоте и доброте своей полтавские места. Но располагали они только Николая Васильевича, который с детства не пользовался особым отцовским расположением по причине мягкости характера и порожденным ею сходством с матерью. Потому, наверное, мальчиком еще он оставил родную свою Малороссию и уехал сначала учиться, а потом и устраивать судьбу в Петербурге, не отыскивая средств и времени посетить прощание со своим знатным родителем. Разъединенный с корнями, с пупом своим, здесь, в этой земле захороненным, он стал подвержен мытарствам и поискам себя – и до сравнительно недавнего времени не мог это собственное «я» отыскать. За что бы он ни брался, все казалось ему чуждым, ни к чему не лежали ни руки, ни душа, и потому он часто отчаивался и оставлял свои занятия. Приехав же сюда после долгих лет странствий, он словно телом начал понимать, что только тут обретает он гармонию.

Горячо обняв маменьку, он едва не расплакался.

– Так счастлив я, так рад этому возвращению...

– А сколько я тебя уговаривала и писала то же самое?! Нет ведь, упрямство Яновских, как видно, покоя не давало.

– Все думал найду себя там...

– Ну ладно, проходи скорее в дом, там поговорим.

Когда они сидели за столом за наскоро сооруженным обедом, а Семен всю беседовал со своим давним приятелем – здешним молодым кучером Вакулой, – Мария Яновна стала расспрашивать сына о поездке, которая наделала столько шуму и была, как видно, для него весьма значимым событием.

– И как же ты съездил? Что нового открыл для себя в столь священном для всех христиан месте? Ну, разумеется, кроме болезни, – пошутила Мария Яновна.

– Многое. Как мне сейчас кажется, я наконец нашел, что искал.

– В 36 лет? Не поздновато ли?

– Ну что ты, – рассмеялся Николай. – Иные и всю жизнь не находят. А иным для этого требуется куда больше времени. Вспомни знаменитых старцев, отшельников.

– Если уж заговорил о нем, стало быть..?

– Да. Я решил если не посвятить всю жизнь свою служению Господу, то, во всяком случае, значительно пересмотреть свои взгляды и стараться быть более богопослушным.

– Это болезнь на тебя так повлияла? Тамошний климат?

– Думается, что нет.

– Но ведь ты же писатель, тебе сложно будет с твоим пониманием этого мира, с твоим злым и замечательным во всех отношениях пером, вдруг взять и отправиться в путь, благословенный Господом. Ты же понимаешь, что он налагает множество запретов и ограничений? Как с этим быть?

– Думаю, что трудности только приумножают желание истинно верующего следовать прямым путем. Конечно, их придется преодолевать, но как без этого?

– И все-таки я не понимаю, как простое созерцание мощей может произвести столько сильное впечатление на писателя – человека, видевшего и понимающего многое?..

– Дело здесь не в простом созерцании. Вот, – Николай достал из-за пазухи носовой платок, развернул его и продемонстрировал Марии Яновне маленький ржавый предмет, похожий на наконечник от копья.

– Что это?

– Говорят, именно этим копьём был заколот Христос. Легионер Гай Кассий Лонгин заколот его, чтобы облегчить его муки на кресте...

Мать писателя побелела. Ей явно сделалось дурно.

– Что с тобой?

– Нет, ничего. Только, мне кажется, будто писали, что прежде это копьё уж находили какие-то францисканские монахи или средневековые рыцари. Я читала об этом еще в своей юности в переводных романах.

– Я говорил со многими знатоками, они утверждают, что отысканное прежде копьё есть выдумка. Вот – настоящее.

– И ты так легко поверил?

– В столь святых местах верой пронизано все. Нет там той лжи, что нам свойственна и нами исповедуется почище любой религии. Да и потом проверять не было времени. Найдя это недалеко от Гроба Господня, я вскорости заболел и встречи мои с посторонними людьми пришлось ограничить. Так что чем богат, тем и рад.

– Думаю, тебе надо поделиться этим с дядюшкой.

– С Иваном Афанасьевичем? – родной брат покойного отца писателя жил в нескольких верстах от их имения. Всю жизнь свою он славился еще большей, чем у Василия Афанасьевича, жесткостью и своенравностью, а потому еще с детства не вызывал у Николая сколько-нибудь теплых чувств. Меж тем, приехать спустя столько лет к матери и не повидать родную кровь, единственного живущего брата собственного отца, было бы непочтительно по отношению к нему.

– Понимаю, что ты ехать сразу не захочешь, но должна тебя немного порадовать. Помнишь ли ты его дочь, Александру?

– Смутно, еще ребенком.

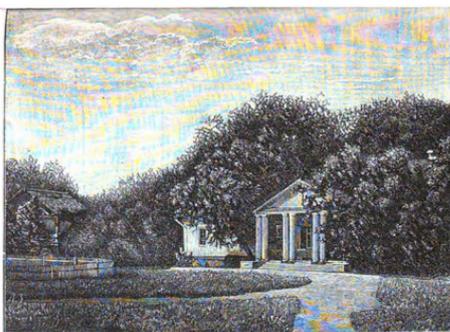
– Она выросла и теперь совершенная невеста...

– Мама, ведь она – моя кузина!

– Ну и что? Я вовсе не имела в виду ничего предосудительного. Просто мне кажется, что вы нашли бы с нею общий язык. Отправимся к нему завтра утром, а пока отдохни. Ты устал с дороги, да и слаб еще.



Старый деревянный дом, в селе Васильевской, Полтавской губернии, впоследствии сгоревший, в котором Н. В. Гоголь провел свои детские годы.



Новый деревянный дом, в селе Васильевской, Полтавской губернии, в котором Н. В. Гоголь бывал у своей матери, в последние годы своей жизни.

Николай Васильевич последовал маминому совету, а уже утром, скоро заложив коляску, отправились они в имение Ивана Яновского.

О характере его можно было судить по одной только детали – когда они приехали, он не сразу вышел их встречать. Отправившаяся в разведку Мария Яновна вскоре вернулась и сообщила, что он немного занят, ибо порет провинившегося в чем-то крестьянина, но велел им проходить и обещал скоро предстать пред их ясные очи. Так и случилось – вскоре он появился в сопровождении своей изумительно красивой дочери Александры Ивановны.

Николай посмотрел на сестру и обомлел. В его жизни был опыт любовного увлечения, но мелкий, практически ничтожный, и который больно ранил его невозможностью продолжения отношений с объектом своего поклонения – она была замужем, и любое случайное упоминание ее имени могло нанести ей вред, чего бы Николай желал в меньшей степени. Это молчание стало одной из причин его мытарств и, в итоге, обращения к Богу, но разве мог он смотреть на сестру с теми же чувствами, какие ее тезка в свое время возбудила в его душе? Ведь она – сестра ему? Но можно ли было смотреть на нее всего лишь как на женщину и дальнюю родственницу? Любой, кто встретил бы ее, и кто был бы при этом в здравом уме, ответил – никогда.

Казалось, на этой удивительной плодородной земле и не родятся другие. Белая кожа Александры в сочетании с иссиня-черными бровями и правильностью и умеренностью всех пропорций, которые от природы должны быть присущи женщине, делали из нее ожившую

Галатею, совершенную и оттого прекрасную во всех отношениях. Видимые на прекрасном челе черты украинки сочетались каким-то магическим образом с кротостью ее, горящий огнем взгляд, присущий титкам, гармонировал с ладной косою и милой улыбкою, от которых нельзя было отвести глаз. Пушкин сказал про таких: «Они сошлись – волна и камень, стихи и проза, лед и пламень...» Никого прекраснее нее не видал Николай за всю жизнь и только, ловя себя на мыслях этих, отмечал, что он, пожалуй, слишком влюбился после длительного отсутствия в родных местах во все родное, что было в них, и что сосредотачивалось мистическим образом в этой совершенно прекрасной, без изъян, молодой женщине.

– Однако, – только и смог произнести он, припадая к руке кузины. – Определенно, или я слишком долго пробыл в отдалении от сих славных мест, и вы успели так похорошеть, или впрямь детство не дает точного представления о женской красоте, как не дает представления о предательстве, лжи или убийстве как о неотъемлемых чертах нашего мира.

Она в ответ ему рассмеялась:

– Определенно, ты или слишком долго прожил вдали отсюда, или слишком начитался мудреных петербургских книг, что не желаешь называть на «ты» сестры своей, с которой в детстве играл под вон той липою в батином саду.

– Прости, это я от смущения, – зарделся Гоголь. – Не каждый день такую красу встретишь. Очевидно, от женихов отбоя нет.

– Эээ, – протянул Иван Яновский. – Я тебе после расскажу, какие тут женихи. Нам таких даром не надо. Скажи-ка лучше, как с этим делом в Петербурге обстоит?

– С женихами-то? Думается, сносно, только и там достойных такой красоты лично я почти не знаю. Разве Пушкин – да и тот почил в бозе, царствие ему небесное.

– Полно, господа, – отмахнулась Александра. – Как забавно это слушать, что вы без меня меня женили. Рано мне об этом еще думать, да и мысли такие не посещают меня.

– О чем же думает столь светлая и красивая голова? – поинтересовался Николай.

– Все больше о петербургской жизни. Батя прав, здесь часы замирают – и не только те, что на стене висят, но и что внутри каждого человека отсчитывают его минуты, ускоряя обветшание всякого, кто ходит по этой грешной земле.

– Однако, думаю, что и там часы Господни не сильно отличаются от здешних. Разве замедлит их ход ничтожный по природе своей человек?

– Да, но одно дело медленно тлеть в болоте и другое – ярко гореть на центральной улице прекрасного города, освещая путь всем и вся, – мечтательно отвечала Александра, хоть и обвинившая Николая в любви к чтению, но и сама не уступавшая ему в этом.

– Здесь дело не в месте, а в человеке. Еще русская пословица об этом говорит. Поверь мне, там тоже тлеют. А вот если ярко горишь, если свет твой быстр и ослепителен, то и из самого дальнего лесного уголка можно будет увидеть тебя и в Париже.

– Мудрено рассуждаете, господа читатели, – скептически процедил Иван. – Такое общество явно не для нас, а, Мария? Так что мы пойдем сыграем в вист, а вы присоединяйтесь, если надумаете. Только чур – не умничать! Это уж для себя оставьте.

– Не будем, если только перестанете сечь крестьян или хотя бы объясните причину такого поведения, – хлестко отвечал Гоголь.

– Еще чего?! Мало я их секу, больше надо! Наш мужик только такое понимает, только кнут! Чем больше, тем лучше работает. А как только немного расповодишь, немного отпустишь поводья – гляди и на шею залезет, и ноги свесит, и повезешь. А не повезешь – так он тебе таких батогов всыпет, что мало не покажется! И между прочим, будет прав, ибо по заслугам и честь.

– Вот тебе раз! А как же христианское человеколюбие?

– Так то ж к людям. А это так, скот, – отмахнулся Яновский.

– Ну полно тебе, Иван Афанасьевич, – потянула его за рукав Мария Яновна. – Мы с тобой помнится, не доиграли партию, а молодым людям и впрямь есть чем поинтереснее заняться, чем твои садистские нотации слушать.

Они ушли, а молодые – хотя Николай Васильевич и был старше Саши почти на 10 лет, а все же в ее компании почувствовал себя моложе и практически совсем здоровым – остались в саду Яновских. Воздух крайне положительно влиял на шаткое здоровье писателя, и потому он предпочитал так проводить больше времени, чем в закрытом пространстве, которые и без того с самого Иерусалима его немало утомили.

– Признаться, я не узнал тебя при встрече.

– Что ж в этом удивительного? – улыбаясь, спрашивала Александра. – Столько лет прошло...

– Расскажи о себе.

– А что рассказывать? И без слов все видно, кругом и всюду одна тоска. Так и жизнь, глядишь, пройдет безвозвратно. Лучше ты расскажи о Петербурге, – сказала она мечтательно. Слово «Петербург» произнесла она с таким особым придыханием, как произносят его молодые провинциальные барышни, чьи мысли и чувства целиком сосредоточены на петровской столице, с которой они связывают надежды, кои, впрочем, имеют обыкновение рушиться при первом знакомстве с этим городом. Николай добрыми глазами посмотрел на кузину и улыбнулся. Они добрались почти до самой глубины сада, до старых качелей, которые на удивление вспомнил молодой писатель. Он усадил на них собеседницу и начал.

Беседа обещала быть долгой и интересной – вот только проходившие мимо или таившиеся по кустам крестьяне Яновского не давали ему покоя и периодически мешали сосредоточиться. Он ловил на себе их злые взгляды и искренне недоумевал, что он-то им сделал такого, что заставляет их испепелять его взором своим. Списав, однако, их на общую неприязнь ко всему дворянскому сословию и, в особенности, к той его части, что носит фамилию Яновские, Гоголь еще раз мысленно осудил дядьку за жестокость. Но скверные мысли и чувства сегодня не держались долго в голове – в таком обществе преступно таить их.

Глава вторая. Бастард

Качели медленно раскачивались, влекомые рукой писателя, а сидевшая в них Александра мечтательно смотрела в глаза кузена и задавала так сильно интересующие ее вопросы.

– Так, значит, ты считаешь, что жизнь в Петербурге мало отличается от здешней?

– Я считаю, что жизнь более протекает внутри человека, чем вокруг него – кстати, ученые тоже так считают. И потому то, что происходит извне, во многом определяется тем, что происходит внутри индивида. Место особого значения не имеет и уж никак не может наполнить человека содержанием, если у него одного от рождения нет. Лет десять назад я сам думал как ты. А сейчас, приехав сюда, вижу, что мест красивее отродясь не видал!.. Красивее и романтичнее. И оттого подумываю уже приступить к сбору материала для очередного сборника повестей из жизни Малороссии. Ехал лечиться, а сейчас вот разговариваю с тобой и понимаю, что такого, как могу написать здесь, нигде и ни за что более не напишу...

– Ты так говоришь, потому что много, где был. И в Италии, и вот в Иерусалиме...

– Италия это да... К Италии я навеки прикипел сердцем. И, хоть похожа она на нашу Россию, и друзей там живет много, в том числе и русских, а все-таки – не Россия.

– Даром ли тебе, что тут я на веки вечные в девках останусь?

– Что или кто тебе мешает? Посмотри, сколько хлопцев вокруг!

– Это все не то. Мой идеал сошел со страниц петербургских романов, – мечтательно воздела она глаза к небу.

– Тогда вынужден тебя разочаровать. Там вероятность встретить его близится к нулю. Вымысел все это, прах, и оттого так популярен у барышень, в том числе петербургских, что нет его в пределах этого стольного града.

– Так уж и нет? А как же Онегин, Ленский?

– Или мой Хлестаков, да? Конечно, Пушкин во многом с себя списал твоих героев, только где он теперь? Близящийся к мечте идеал так нечеток, так призрачен, что, даже если появляется в мире, то живет, как правило, недолго.

– А ты? Что ты думаешь о женитьбе?

От такого вопроса писатель раскраснелся и потупил взор.

– Как видно, это не мое. Прежде, чем строить дом, надобен основательный фундамент, а я толком развязку своего существования найти не могу – так чем мне привлечь, заинтересовать, и как обещать оплот той, что станет моей избранницей?

– А как же поездка в Иерусалим? Батя говорил, что она значительно тебя изменила, что теперь ты не такой, как раньше.

– Любой, кто хоть раз побывает в таких местах, прежним не будет уже никогда... А между тем, это положительно интересно – я только что впервые увидел его со дня моего давнего отъезда из Малороссии, а он уже наделал про меня не весть, каких выводов!

– Они часто встречаются с Марией Яновной, она читает ему твои письма. Оттуда и такие выводы!

Гоголь раскачивал качели и все время ловил на спине взгляды проходящих мимо крестьян. Они смотрели на них как на волков в человеческом обличье или словно призрак увидели – какое-то животное презрение сочеталось в них со страхом, что внушала им картина невинно беседующих брата и сестры. Со стороны могли эти люди показаться дикими, но Николай списывал все на свою излишнюю впечатлительность, вызванную болезнью – он последнее время практически не общался с людьми, и оттого неосторожно брошенный взгляд мог показаться ему странным или даже оскорбительным.

– Из речи твоей следует будто бы какая-то нелюбовь к Петербургу и живущему там высшему обществу...

– А за что его любить?

– Право, несколько непривычно слушать критику в адрес петербургского высшего общества от автора «Ревизора» и «Мертвых душ», – задумчиво протянула Александра.

– Почему? Ты считаешь, что мои произведения не есть главнейшая критика?

– По-моему, любое крупное произведение столичного писателя, который и сам часть того общества, о котором пишет, есть не более, чем попытка привлечь к себе внимание. Я думаю, никто в глубине души не разделяет того, что написано и только упивается славой, что порождается этими книгами — мол, вот он какой замечательный и прекрасный, давайте еще выше вознесем его над собою. Как говорится, ради красного словца...

– О как! – присвистнул Николай Васильевич. – В первый раз сталкиваюсь с такой оценкой собственного творчества.

– Речь не о твоём творчестве, милый братец, а о творчестве всех твоих товарищей, которые мастерски поливают грязью все, что видят. Всяк кулик свое болото...

– Пусть так, но ты обвиняешь нас во лжи! Это несправедливо!

– Ой ли?! Поэт всегда лжец, разве не об этом трактует твоя религия, в которую ты так отчаянно влюбился после Иерусалима?

– Ее центральная суть не в этом, – Николай вмиг посерьезнел.

– А в чем?

– В том, что смерть Христа стала искуплением всех грехов за всех живущих. Конечно, ложь есть грех, но, если мыслить в планетарном масштабе, Христос уже искупил основную часть наших грехов.

– И это значит, что можно грешить снова?

– Нет, разумеется, но слова моих книг намного менее можно назвать ложью, чем слова десятков и сотен других, написанных с приснопамятных времен. Беда моя как писателя состоит вовсе не во лжи, которая есть не более, чем литературный вымысел, а в том, что писал я не то, что должно.

– А что должно?

– Должно не резко обличать общественные пороки, а прежде воспитать в людях, как в детях, лаской и добрым словом те высокие моральные и нравственные принципы, что проповедует церковь, а уж после чувствовать себя вправе пригвозждать кого бы то ни было к позорному столбу. Человек наш с течением времени деградирует, забывает истинное предназначение и истинную суть служения – возьми хотя бы меня. Сколько я себя искал? И потом – обязательно ли было посещать Иерусалим для того, чтобы увериться в том, что и без того известно любому ребенку?!

– И потому ты намерен полностью изменить свое творчество?

– А, если потребуется, и вовсе отказаться от написания книг. Сжечь все, ранее написанное, и забыть о поисках дороги в полной темноте жизни, которой окружил я себя волею обстоятельств, чтобы отдать себя целиком служению свету...

– Свету от костра, в котором сгорят книги? Думаю, ты торопишься. Как бы опять это решение не разбилось о поиски твоих метаний...

– Однако, ты и впрямь слишком умна для своих лет и этих мест. И потому меня интересует твое мнение по одному вопросу...

– По какому?

– Как ты относишься к поведению твоего отца в отношении его крепостных?

– Понимаю, о чем ты, – всматриваясь глубоко в глаза собеседника, отвечала Александра. – Но мне сложно судить. Во-первых, он мой отец, а во-вторых, я выросла в такой обстановке. Для меня все это более привычно, чем для тебя петербургская жизнь. Хотя... конечно, одобрить такого нельзя. Какие-никакие, а это люди!

– Именно. Именно этих слов я ждал от тебя! Библия говорит о всеобщем равенстве и недопустимости такого попрания личности, которое видел я не только от Ивана Афанасьевича, но и от других ему подобных помещиков. И, когда я пытался вразумлять этих доморощенных изуверов, почти всегда сталкивался с непониманием или нежеланием понимать. Иначе обстояло дело с молодыми помещиками (которые, впрочем, тоже превратятся в старых, закостенеют и станут исповедовать те же принципы, но чуть позже). Они охотнее слушали меня и соглашались со мной – так же, как только что согласилась ты, хотя отец твой едва мне самому не отвесил сто горячих за такое человеколюбие.

– И что из этого проистекает?

– Проистекает из этого то чудовищное разложение, которое свойственно старости. Могила человечнее нее – на могиле хотя бы напишется: «Здесь погребен человек». Но нет ничего суровее жестоких, холодных черт бесчеловечной старости. Как отвратительна и пугающая ее личина, и главный ужас состоит в том, что она совершенно неотвратима ни для кого. Забирайте же, выходя из прекрасных, добрых, светлых юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, все свойственные тем годам замечательные порывы, не оставляйте их на дороге – не подымете потом!⁵

Вот только правду ли говорила Александра, так ли она в самом деле относилась к крестьянам, как сказала Николаю – в этом он усомнился, но не сегодня, не в первый день встречи, когда ее очарование заставило выдавшего виды брата на минуту потерять дар речи и задуматься о том, правильно ли он поступает, обрекая себя на обет безбрачия. А на следующий день, приехав снова в имение Ивана Яновского, к которому не питал особого расположения еще с детства.

Лишним будет говорить, что Мария Яновна оказалась права – в среде людей пожилых, живущих здесь давно и основательно, встреча двоих молодых людей сыграла для них решающую, даже роковую роль, тем более, что они как нельзя лучше отыскали друг в друге то, что давно искали в других: Александра Ивановна – опытного и разумного собеседника, на правах старшего внушающего ей некие прописные истины; а Николай Васильевич – благодарного слушателя, из которого можно было еще слепить нечто по образу и подобию того лучшего, чего ему так не хватало в жизни и в себе самом. Встречи их стали частыми, почти ежедневными.

Во время встреч этих Николаю уж не так стали бросаться в глаза те взгляды, что посылали двум молодым и счастливым людям крестьяне – в конце концов, говорила Александра, и где-то Николай Васильевич был солидарен с нею, они просто завидуют, будучи не в силах вырваться из оков рабского труда и чувствуя оттого себя униженными и оскорбленными, но зависть это грех. Потому не следует так много времени заниматься ими, особенно учитывая, что Александре этого не очень-то и хотелось. Николай стал замечать за ней странные, хотя вполне объяснимые ее происхождением вещи.

Началось все с того, что он обнаружил среди крестьян Ивана Яновского своего недавнего знакомого – того самого бурсака, что в шинке на постоялом дворе недалеко от Винницы так ловко пил из чарки горилку. Молодой, сильный, красивый парень, он тоже посылал Гоголю и Александре свои недвусмысленные взгляды, но в основном они касались все же девицы – это было и понятно.

– Кто он? – в очередной свой приезд увидев молодого бурсака не отходящим от Александры, поинтересовался Николай Васильевич. – Одет вроде прилично, не похож на дядькину дворню.

– Это Хома Брут. Он из наших крестьян и обучается, не без бабкиной помощи, в бурсе, что в Киеве. Вот приехал на вакансии, мать попроведать...

– ...и тебя заодно!

– Что я слышу, господин писатель? Уж не ревность ли говорит вашим голосом?

⁵ Гоголь Н. В. Мертвые души (поэма). М., «АСТ» 2017 г. ISBN: 978-5-17-103809-0

– Что за ерунда?! Просто странно, что он не отходит от тебя и во всякую минуту, что мы проводим вдвоем, посылает тебе весьма недвусмысленные взгляды...

– Брось. Он всего лишь батрак батькин, какие могут быть между нами отношения?

– В любви, как показывает история, социальное равенство не всегда является главенствующим. Да и вся литература, которую ты так любишь, об этом говорит. А вообще-то – от нелюбви до любви один шаг. Хоть я вижу презрение в твоих глазах и когда он рядом, и когда просто смотрит на тебя, и когда говорим мы о нем, все же отношение это вполне может перерасти в нечто большее и существенно иное...

– Уж не пророком ли ты сделался после Иерусалима?

– Прав был великий Пушкин, что нет пророка в своем Отечестве. Просто я старше и жизнь знаю больше.

Эти слова так запали в душу Александры Ивановны, что на протяжении следующих нескольких встреч она всем видом показывала брату, что Хома – скорее ее вещь, нежели, чем человек, которого она сколько-нибудь уважает. Он влюбился в нее, чего она уже не могла да и не хотела скрывать, и она, как всякая женщина, пользуясь этим, не желала все же разорвать той невидимой связи с неведомым, но влекущим ее неотвратимо петербургским миром, что олицетворял для нее Николай Васильевич.

В один из приездов писатель с ужасом и удивлением увидел, как молодая барыня каталась верхом на Бруте. Увидев приехавшего писателя, который едва не лишился от такого зрелища дара речи, Хома ретировался, оставляя молодых наедине.

– Что же это? – с нескрываемым удивлением спросил Гоголь.

– Говорю тебе, он всего лишь вещь. Да ему и нравится такое.

– И как ты поняла? Как такое вообще может нравиться кому бы то ни было?

– Захожу сегодня на конюшню, а он там. Разговорились. И так он стал на меня пристально смотреть, что я решила над ним подшутить. Дай, говорю, поставлю я на тебя свою ножку. А он мне в ответ: «Чего же только ножку? Садись на меня сама верхом». Ну а мне, что, упрашивать себя прикажешь? Изволь, я и села. Повеселились и не более. Пусть не мечтает там себе, мне такие без надобности.

– Да, – задумчиво протянул писатель. – Отдал Христос за нас свою душу, искупая наши грехи, а мы вот так...

– Да что я такого предосудительного сделала, что ты меня уже во вселенские грешницы записываешь? – Александра говорила обиженно, надув губы, и, глядя на нее, писатель понимал, что женщина есть женщина. Достаточно провести с ней несколько дней, как она уже нафантазировала о тебе в своей голове не Бог весть чего, уже смотрит на тебя почти как на мужа, и потому всякое подозрение из твоих уст начинает живо и больно ранить ее. Он улыбнулся и поспешил перевести тему:

– Я вовсе не о тебе. Видишь ли, я думаю о центральной сути Христова учения, которое, как мы уже с тобой говорили, состоит в том, что за наши грехи, грехи наших отцов и детей Христос расплатился жизнью своей. О смерти его известно, что, будучи распятым, он пал от копья легионера Лонгина, который желал облегчить ему муки и потому заколол. Но вот, что я думаю – делал ли Лонгин благо, убивая Спасителя? Мог и желал ли Пилат пересмотреть вынесенный Ему приговор? И что было бы, останься он в живых?

– По твоей логике, наши грехи остались бы не прощенными...

– Да, но Спаситель был бы жив, и вся жизнь оттого преобразилась бы.

– Но почему ты думаешь об этом? Уж не дурак ли Хома Брут навел тебя на такие мысли?

– Во все нет. Видишь ли, во время путешествия в Иерусалим я отыскал наконец копья, которое многие там и приписывают Лонгину... Вот он, – писатель достал из-за пазухи сверток и показал его Александре.

– Удивительно, – прошептала она, поводя рукой над находкой брата. – Как это удивительно и прекрасно – прикоснуться к истории столь давних времен и почувствовать себя причастным к этому... Как будто двух тысяч лет и не бывало...

В эту минуту Николай снова поймал на себе чей-то гневный взгляд. Обернувшись, он увидел позади себя Семена. Теперь и он одаривал молодых взглядами позора и презрения. Не выдержав его выпада, писатель отволоч его в глубину сада и спросил в лицо:

– Послушай. Чего это ты и вся здешняя дворня так смотрите на нас, будто мы вам всю жизнь испортили, а?

– Нет, батюшка барин, – отвечал Семен, – что хотите со мной делайте, а я вам всю правду скажу. Недобрый и нехороший он человек.

– Кто?

– Дядюшка ваш, Иван Афанасьевич. Поговорил я с дворней, с поварами, с кучерами, да с кем только ни разговаривал я все дни эти и все в один голос говорят: негодяй и сатрап. Людей бьет, истязает почем зря, может и до смерти забить или зарезать. Со многими беглыми крестьянами так поступал. А куда им деваться от такого-то обращения? Только бежать и остается, хотя и знают, что цена высока – а все же здешнюю платить еще дороже выходит. Негодяй он, точно вам говорю. Пусть и неприятно вам это, пусть и родная вы ему кровь, а только скажу, и можете хоть сечь меня, а хоть и вовсе отдать ему на растерзание. Чего там, вы писатель, для вас правда должна быть дороже, а я ни словом, ни звуком не совру, ежели говорю вам, то так оно и есть.

– Положим, я не слепой и сам видел все то, о чем ты так горячо распинаешься. Но разве в этом состоял мой вопрос? Разве этой вот правды, хоть и ценимой мною, но не относимой к делу, желал я от тебя услышать? Или неразумный ты и маломысленный человек? Или горилка так на тебя действует?

– Нет, ваше благородие, я человек разумный, хоть и молодой, и вы это знаете. И правду я вам скажу, именно ту, которую вы услышать хотели, но сказать то, что я сказал, непременно надо было именно сейчас. Потому как в ином случае вы бы точно разгневались и велели бы сечь меня. Да и, правду сказать, узнал я нечто совсем недавно, когда уж видел и имел представление о господине Яновском.

– Так что же ты узнал? – Семен говорил так витиевато и сложно, что Гоголь даже задумался, не тронулся ли тот умом.

– Все видят, что вы с молодой барыней Яновской ни на минуту не расстаются, что все время вместе проводите.

– И что? Грешно это? Она ведь моя сестра, прошу не забывать, и не виделись мы с ней много лет. Так что же в этом предосудительного?

– Да вот только говорят, что смотрите вы на нее совсем не как на сестру, да и она на вас – не как на брата.

– А как же? – Гоголь уже понимал ответ, но ему важно было вытянуть из Семена все до последнего слова.

– Как влюбленные. Хотя и нет греха, ежели двоюродная, неполнокровная сестра с братом в отношения вступает, да вот только поговаривают... будто родня вы по крови.

– Что за ерунда? Как это?

– Я и сам не верю, только говорят, будто маменька ваша еще при жизни Василия Афанасьевича с крутым нравом его брата сладить не смогла, да и... Василий Афанасьевич, упокой Господь его душу, всегда был добр ко мне, и я и мысли такой допустить не могу, только вот вы сами спросили. И потому выходит, будто родственники вы самые, что ни на есть, прямые, а связь между вами... греховная. Вот и смотрят на вас так, будто чертей увидали.

– Так. Очень интересно. А что еще говорит твоя милая дворня?

– Вы напрасно ее милой ругаете. Дыма-то без огня не бывает. Так и говорят, что всю жизнь знавший об этом Василий Афанасьевич жить-то с этим не мог, да будто бы и сам отдал Богу душу. А еще хуже – может, брат-то родной и помог ему. Верить в такое трудно, да и чего не придумают люди от безделья, да темноты, что в здешних краях царит. Только в то, что Иван Афанасьевич мог брата своего к праотцам отправить, я каким-то тайным умом верю – вижу, как неоправданно жесток и суров он к людям, и потому представляю и как будто сильнее его ненавижу.

– Как-то странно. Речь вроде шла обо мне, так почему ты начал-то именно с Яновского? Он каким боком здесь?

– Я так рассудил. Богу – богово, и нам знать того невозможно, что на самом деле происходило перед вашим рождением, да и после, когда ушел от нас Василий Афанасьевич, добрый и прекрасный человек. И, если вдруг по божьему промыслу и разумению станется так, что вы – его сын, о чем я вас только что уведомил, как бы я стал вам рассказывать гадости про родителя вашего? Вдруг бы вы поверили в это и осерчали на меня еще пуше за правду, которая внутри меня огнем горит, как наружу просится? А так выходит, что я вам вперед рассказал, что думал и видел, а уж после о родстве вашем возможном. Значит, я не отца вашего обругал зазря, а только дядьку, о котором вы и разумения не имели столько лет, пока в Петербурге жили. Потому и выходит, как будто не за что вам особо меня ругать...

Философия Семена несколько повеселила писателя, но сильно насторожило его сказанное им, пусть даже это и было всего лишь слухи. Изможденный болезнью и переездами организм писателя не был еще готов к тому, чтобы здесь, в родных своих пенатах, подобными откровениями плевали ему в лицо, потому слова эти произвели на Николая Васильевича грустное, угнетающее воздействие. Видя, что он спал с лица после очередного возвращения из поместья Яновского, Мария Яновна решила осведомиться у сына о причинах его смурного настроения.

– Скажи, – писатель решился заговорить с матерью откровенно, – а какие отношения связывали вас все годы, что отца нет на свете, с Иваном Афанасьевым?

– Обычные, родственные, – несколько волнуясь, отвечала мать. Он не ожидал другого ответа, больше его занимала ее реакция на те слова, что будут им сейчас сказаны. – А почему ты спрашиваешь?

– Просто говорят, будто вы состояли в интимной связи, да еще и при жизни отца. А еще говорят, что я внебрачный сын Ивана. Это так?

– Господи, откуда ты только нахватался подобных глупостей?

– Дворня говорит, а дыма без огня, как известно, не бывает.

– Эту дворню Иван сечет, да мало. Следовало бы еще, как раньше, на колья сажать для ума. Наговорят черт знает что, а ты и поверишь. Ты, Николенька, слишком мало жил у нас, не знаешь здешний народец. Это с виду он добрый и покладистый, а чуть копни – греха не оберешься. Советую тебе поскорее выбросить эти мысли из головы, ибо они ложь и дрянь. А дрянные мысли приводят в ад – ты ведь у нас теперь человек религиозный...

Мария Яновна шутила, и писатель быстро подхватил ее шутку, но в глубине души его засела реакция матери на эти, не стоящие выеденного яйца, слухи. Они разозлили и очевидно взволновали ее. На пустом месте такого бы не было. Терзаемый предположениями и неразрешимыми сомнениями, писатель в эту ночь тщетно пытался уснуть – веки его сомкнулись только, когда первые петухи в округе заголосили утреннюю свою песню. Снова перепутался у него день с ночью, что не сулило его не окрепшему здоровью ничего хорошего.

Глава третья. Душа поэтов

Всякий раз, когда приезжал Николай Васильевич в имение Ивана Яновского, он волевым решением заставлял Хому Брута в компании Александры. Так уж сложились обстоятельства, что вернулись они в родные пенаты одновременно – и оба на побывку. И из двух этих заезжих земляков Александра предпочитала Хому по вполне понятной причине – наследница рода Яновских, дерзких и себялюбивых, дочь своего отца, она предпочитала не подчиняться мужчине, не меркнуть на его фоне, а выделяться на нем и командовать. И, хоть Хома при виде писателя всякий раз ретировался и исчезал, настроения это Николаю Васильевичу не добавляло. Он все чаще думал о том, что симпатия его к сестре беспочвенна, и она всегда будет отдавать предпочтение крестьянину, хоть и не свяжет с ним своей судьбы, а все же властителем ее дум не этот, так другой Хома будет всегда.

«Что ж с этим поделаешь? Что с этим вообще можно поделать? И надо ли? Ведь каждому круг дается по изъявлению Господа – зачастую мы не вольны выбирать свое общество. Так не прижился я в Петербурге, как прижились здесь Александра и Хома, и всегда будут вместе, и разбивать их толку нет. Можно добиться того, чтобы она отставила бурсака, выгнала из своей памяти – но подсознание ее всегда будет здесь. Так уж вышло, поздно теперь, и возраст у нее не тот, чтобы порывать ту связь с родной землей, которую я порвал, будучи мальчиком, – думал писатель. – С одной стороны, ясно, что пары из этого мезальянса не выйдет. А с другой – ведь, если человеку что-то мило, то кто сказал, что и другому должно быть мило то же самое? Всегда ли черным является на деле то, что нам видится черным? Может ли другой человек видеть иначе? А кто разрешит этот спор? Только Господь. Ему одному ведомо, что в действительности является для человека благом, а что – злом. Так что же может наш утлый разум в сравнении с Разумом Высшим? Конечно, эмоций у нас не отнять – и реагировать на Его проявления мы можем по-разному, но факт всегда будет оставаться фактом, сколько ни сился подменить его своей убогой волей».

Во время каждого разговора с кузиной писатель неизменно мыслями возвращался к виденной картине и, с горькой очевидностью, приходил к выводу о том, что он ничего не изменит – не станет моложе и красивее, как Хома; не станет допускать Александре класть на него ноги, как Хома; не станет убого мыслить, чтобы умилять свою возлюбленную, как Хома. Неизбежностью этой он тяготился, возвращаясь домой в подавленном настроении, которому не переставала дивиться сватавшая еще вчера молодых Мария Яновна. Но поделать с этим ничего не могла. Случалось еще, что по утрам, отправляясь в имение Ивана Афанасьевича, Гоголь надеялся, что все еще может быть иначе, и сегодня он не увидит сестру в компании полуграмотного бурсака, но надежды рушились и рушились. Не отдавая себе в этом отчета, в глубине своей души писатель начал было уже ненавидеть Хому и все крестьянское, связанное с ним – но, как только удавалось ему поймать себя на такой мысли, гнал он ее от себя нещадно, чтобы только не становиться похожим на дядьку.

И снова приезжал в Сорочинцы потерянным, разбитым, и снова будто бы отступившая болезнь начала хандрой возвращаться к нему. Семен пытался подбодрить барина словами о негодной связи его с ненавидящей простой люд сестрой, но тем самым только подливал масла в огонь – разве влюбленного так просто отговорить от чувств его потому только, что объект воздыхания не есть добрый человек? Любовь застит глаза, и тому, кто впитал ее в себя, уж никого на свете лучше избранника не будет, будь он хоть черт с рогами или ведьма с хвостом назади.

Так бы все и было, и увял бы Гоголь на своей родине окончательно, если бы не одно событие, приободрившее измаявшуюся душу поэта. Узнав, что он пребывает на Родине, ему отписал Тарас Шевченко, путешествовавший в ту пору по Малороссии. Приняв приглашение

Николая Васильевича, он вскоре приехал в Сорочинцы и гостил в имении матери писателя несколько дней. Все эти несколько дней сопровождались увлекательными беседами и размышлениями о будущем России и Украины. При этом Николай Васильевич не мог не сознаться земляку в тех чувствах, что в нем как в украинце, пробуждали его стихи и картины.



Тарас Григорьевич Шевченко

– Глубоко и истинно замечательно все, что вы пишете, – говорил Гоголь.

– Петербургские критики, меж тем, так не считают, – улыбаясь в густые моржовые усы, отвечал тихим голосом Шевченко.

– Так ведь они и меня последнее время не очень хвалят. А когда? Когда я, вместо словоблудия и пустого трезвона, взялся в комментариях своих к моему «Ревизору» объяснять его истинный смысл, утраченный и читателями, и критиками за ширмой легковесного чтения, сиюминутного развлечения.

– Получается, что вы, который, в отличие от меня, принадлежит к высшему свету, тоже тяготитесь им? Понимаете теперь, что сусаль за частую уводит читателя и критика от главного, а когда тот видит главное, оно становится ему неприятно?

– Я это давно понял. Как понял и то, что я – писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям.⁶

– Читал, читал отзывы Белинского к вашему «Разъяснению «Ревизора», и был немало удивлен. Хотя, между тем, удивляться нечему. Русский человек как представитель любой огромной национальности, всегда страдает повышенным чувством исключительности собственного кружка. Оттого он отрицает вас с вашими моральными выступлениями, что вы в основе своей все же украинец. Как бы ни маскировалось истинное отношение русского к украинцу, какие бы длительные сроки ни выдерживала надеваемая ими маска, правде все равно выплыть – такова уж ее планида. И выплывает она, как правило, тогда, когда выходит из-под пера украинца нечто, что по морально-нравственной силе своей оставляет далеко позади творения столичных мастеров слова. И тут припоминают вам все – и прошлые недостатки, и авансовые похвалы, – и вовсе выясняется, что не такой уж вы великий и сильный писатель, как виделось это ранее. Причем, пишут те же, кто вчера хвалил. Только национальная идея и национальная же рознь – в основе такой критики.

– Однако, – задумчиво парировал Гоголь. – Мне никогда бы не показалось в обычной жизни моей, что проживалась рядом с Белинским и Чаадаевым, что они видят проблемы моего писательства в моей национальной принадлежности...

– А между тем, это так! Отмечая достоинства моих стихотворений, они в один голос говорят, что это – не малороссийское, но слишком украинское творчество. Их задевает самостоятельность и самостоятельность нашего народа, который вовсе не является производным от русских, но представляет собой смешение и польских куренных традиций и языка, и исконно украинских, и русских – в какой-то степени. Он особ, и потому не похож ни на один другой, хотя имеет сходство со многими. Это надо понимать, уважать, с этим надо считаться... Вот взять вас. Ваши замечательные миргородские повести – что может быть прелестнее в глубоком океане творчества столичных бумагомарак? А между тем, похвалы они заслужили намного меньше, чем те же велеречиво-пространные «Мертвые души»! Почему так? А спросите простого читателя, а тем паче, живущего здесь, на нашей с вами родине – мил ли ему этот ваш сборник? Да вас на руках станут носить за него, уверяю! А в Петербурге отругают! Впрочем, вы и сами это понимаете. А сюда, говорят, приехали, чтобы собрать материал для второго такого же сборника?

– В какой-то мере, – опустил глаза Гоголь. – Вообще, я приехал сюда лечиться от малярии, что поразила меня в Иерусалиме...

– Вы были в Иерусалиме?

– Да, несколько дней. И нашел там копье Лонгина...

– Как?! – искренне удивился Шевченко.

– Не слушайте его, Тарас Григорьевич, – в разговор вмешалась сидевшая за столом Мария Яновна, достаточно критично относившаяся к очередному религиозно-ментальному колебанию в сознании сына. – Николенька отыскал там какую-то железку, и теперь вообразил себя пророком в своем Отечестве, коего, как известно, быть не может...

– Кто это сказал? Тот же русак Пушкин! Уверяю вас, Мария Яновна, что ваш сын и есть пророк. Настоящий пророк судьбы Украины, которая болью отзывается в сердце каждого из ее сыновей. А вас, Николай Васильевич, заклинаяю как можно скорее приступить ко второму сборнику украинских повестей – они у вас прекрасно получаются. И сразу излечитесь, это уж точно! Ведь что может быть лучшим лекарством для художника, как не работа?!

⁶ Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. – По изд.: Гоголь Н. В. Сочинения. Издание десятое. Т. I – VII. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его сочинений Николаем Тихонравовым. М., издание книжн. маг. В. Думнова – издание А. Ф. Маркса, 1889—1896.

– Но ведь здесь я лишь собираю материал. Работать полноценно здесь не получится, все время что-то будет отвлекать.

– А в Петербурге? Там светская жизнь не станет препятствием к творчеству?

– Отнюдь. Сами же говорите, критики практически отринули, отторгли меня.

– Тогда уезжайте! Если создание шедевров требует этого, уезжайте в столицу! Любую цену за новые произведения великого Гоголя!

Шевченко, как истинный поэт, говорил громко, звонко, чеканя слова и наполняя их такой прекрасной поэтической составляющей, что казалось, будто слушаешь песню, а не речь простого крестьянина, коим он был до окончания академии художеств, где учителем его был сам Брюллов! Он, даже будучи сам в незавидных жизненных обстоятельствах, всеми и отовсюду гонимый, умел будто бы морально вооружить собеседника, сподвигнуть его на великое, на борьбу нравственную и физическую, если надо – и с самим собой. Оттого и боялась его жесткая, но пугливая палка Николая Палкина⁷, что в его национальном сознании была удивительная способность пробудить народ к огню, к восстанию, что всегда было страшным сном безумного русского царя.

– А кстати, – внезапно перевел он тему разговора. – Почему вы, украинец, представитель редчайшего и древнейшего дворянского рода, скрываете вторую фамилию? Отчего не подписываетесь ею в назидание нашим доморощенным петербургским русофилам?

⁷ Шутливое прозвище русского царя Николая Первого, знаменитого своими репрессиями, в том числе в отношении творческой интеллигенции.



Ястржембец – герб рода Яновских

Сейчас, за столом, Гоголь отмолчался, но после, когда они с Шевченко отправились на прогулку, под сенью лип, сознался ему в том, что не всех представителей рода Яновских считает достойными, приведя в пример дядьку и его отношение к крестьянам.

– Видите ли, я сам из крестьян, и потому мне изложенные вами факты импонировать не могут. Но родню не выбирают – это раз. И второе – вы, кажется, уже поняли, как важна национальная идентичность в сегодняшней России. Своих за преступления перед своими мы

после побьем, а пока все мы, украинцы, если хотим отстоять национальное единство и народную мысль, должны сплотиться. И всегда мы делали это – еще задолго до Богдана Хмельницкого – под знаменами дворян, к числу которых относятся и Яновские. Умоляю вас, верните в подпись вторую фамилию. Сейчас это особенно важно!

– Что ж, обещаю вам подумать над этим.

Поэт улыбнулся.

– Знаете, не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, да и дела срочные. Я не планировал посетить вас, но, коль скоро у нас не было времени свидеться в Петербурге, решил, что лучше малой родины для этого места не сыскать. Так что, с вашего позволения, я завтра утром буду собираться в дорогу. – Гоголь хотел было что-то возразить; ему очень не хотелось расставаться с этим талантливейшим и прекрасным во всех личностных отношениях человеком; более того, он чувствовал, что излечившее его сплин общество поэта нужно ему как воздух, и в его отсутствие он тут зачахнет. Но Шевченко, обычно уступчивый, видя его порыв, оставался неумолим. – Видите ли, мне необходимо еще повидать родных в Киеве. – Поэт был неумолим, видимо, его и впрямь тянуло срочное дело. Николай Васильевич знал, что в Киевской губернии в имении одного из помещиков живут его родные братья и сестры. Они были там крепостными. Входя в его положение, писатель смирился с отъездом гостя.

Чуть позже, после ужина, Шевченко объяснил истинную причину отъезда:

– Со всяким иным я бы слукавил. Предпочитаю не распространяться о своей личной жизни и считаю, что поэта познают по книгам, а писателя – по картинам. Но с вами не быть откровенным просто невозможно. Видите ли, не так давно я познакомился с дочерью киевского генерал-губернатора князя Репнина, Варварой. Между нами завязалось короткое знакомство, коих я имел великое множество и в Петербурге, но ни одно не заходило так далеко. Ни с одной из барышень не было у меня такого единодушия в чувствах и мыслях, и потому... Думаю, вы как выдающийся сын Украины, тонко чувствующий поэт и писатель поймете меня...⁸

– Но я не поэт, – улыбнулся Гоголь.

– Скажите об этом тому, кто не читал вашего «Кюхельгартена», господин Алов, – ловко отшутился Шевченко. – Так вот, будучи уверенным, что вы поймете меня, рассказываю я вам это. Рассказываю также и то, что, принадлежа к дворянскому сословию, Варвара – человек все же чувствующий и проявляющий глубокое понимание к моим работам и сострадание к моим героям и их прототипам в реальной жизни. Я все же надеюсь, что мое общество и моя... – он замаялся, – мое тепло превратят ее в достойнейшую женщину не своего, но будущего прекрасного времени всеобщего равенства.

– Не продолжайте, умоляю вас, – Гоголь подумал о том, что мечты поэта останутся лишь мечтами, и что он сам только что напоролся на обратную истину, но в последнюю минуту решил промолчать. Потому только, что как человек тонко чувствующий, что верно было замечено Шевченко, он осознавал действительное значение слова любовь, веру в которую внутри такого человека он просто не имел права разрушить злым своим словом. – Верю, что вы будете счастливы, и потому с легкой душой отпускаю вас. Обещайте только, что отпишете мне по возвращении в столицу и станете первым рецензентом того сборника, который сами напророчили. Посвящу его вам.

Шевченко посмотрел ему прямо в глаза и расплакался, так трогательно звучали его слова. Они горячо обнялись и отправились спать, а утром Шевченко стал собираться. Гоголь решил напоследок ему услужить – и дал в сопровождение слугу Семена, чьи родственники жили в том же имении, что и родня Тараса Григорьевича. Сославшись на то, что дождется его у матери, Николай Васильевич отправил Семена вместе с Шевченко, а сам к тому же вечеру собрался и отбыл в Киев поездом. Несмотря на все увещевания матери и незнание Алексан-

⁸ Письма Т. Г. Шевченко к княжнѣ В. Н. Репниной («Кіевская Старина». Кіевъ, 1893)

дры об отъезде, он принял решение взяться за перо по совету великого «Кобзаря», а для этого ему требовались уединение и покой. Он никак не мог найти их в Петербурге, и потому сразу по прибытии сел на пароход и отплыл в обожаемую им Италию, которая уж не раз спасала его от физической и нравственной смерти и щедро одаряла вдохновением. Пусть же и сейчас станет она началом чего-то великого и замечательного в жизни Николая Васильевича!

Глава четвертая. Роман в письмах

Италия. Хоть и дальняя земля, и совсем не похожа ни на малую, ни на большую родину Николая Васильевича, а, между тем, имела она такое значение для души и сердца, для писательского таланта Гоголя, что, если бы кто-то сказал ему, что придется раз и навсегда расстаться с ней, вычеркнуть из души и сердца, то и писать он, наверное, навсегда бы бросил. Ему сложно было сказать, что именно привлекает его в этой удивительной стране, что дает ему столько вдохновения, сколько не давал холодный и промозглый Петербург. Напевная, чудная, волшебная атмосфера этой земли, ее дивная природа и теплый во всех отношениях, радушный климат – все это располагало к творчеству, потому как творчество всегда связано с душевным подъемом, а не испытывать его здесь было просто невозможно. В этом легком, слегка ветреном воздухе, наполненном ароматами свежих апельсинов и оливковых деревьев, где так легко дышалось и полные легкие вытесняли все плохое не только из головы, но и из жизни, все, казалось, передвигались не по земле – эти грешные в высшей степени люди как святые будто бы плыли над здешними мощеными улочками и сельскими просеками. Здесь хотелось и могло летать, получать сибаритское наслаждение от жизни, осознавать грешность этого и все равно быть не в силах отказаться от всех тех благ, что, словно из рога изобилия, посыпались на голову вчерашнего петербургского обывателя, забитого и забытого. Словно рай на земле, исполненный грешниками – вот что такое была Италия в представлении Гоголя. Сызмальства русскому человеку внушается обстановка и осознание лишений, которые всю жизнь будут выпадать на его долю и которые он, согласно Христову учению, должно принимать с кротостью и смирением, и только здесь это правило перестает действовать. Сердцем Гоголь, как всякий русский человек, понимает, что неправильно получать столько удовольствия и наслаждения от жизни, которое заключается даже не в каких-то излишествах, к которым стремится любой человек. Но умом отказывается смириться с этой истиной на благословенной земле далекого итальянского полуострова. Сердцем он понимает, что все это вот-вот должно кончиться, а умом не желает этого и потому, ловя каждое мгновение невероятной душевной гармонии, что посылает ему Италия, спешит работать и создавать дивные по красоте своей произведения.



1845 год. Гоголь (в центре) в группе русских художников в Риме

Люди. Еще одно богатство полуострова, которые взбалмошностью и экспрессией своей так сильно напоминают русских, все же разительно отличаются от них. Если подвыпивший русский вечером начинает горланить песни, то это раздражает всех, кроме него самого. А если вусмерть пьяный итальянец берет в руки мандолину и не дает спать целому городу, то к его

волшебной и веселой песне, в которой грусть граничат с радостью и отворяют сердца слушателей, хочется присоединиться к его веселью и не спать с ним вместе, даже если предстоит подъем с петухами. Все почему? Потому что нет в итальянцах и в Италии той печальной и страшной обреченности, которая всегда есть в русском и в России, хотя мытарств и гонений итальянец испытал никак не меньше, чем русский. Не удалось этим гонениям сломить волю свободолюбивого итальянца, а воля русского хрустнула как сухая ветка – потому только, что уверовал он в волю доброго царя. А итальянец с его легкостью и духом свободы и всеобщего равенства, выдержав многовековой гнет Франции, подобный ордынскому игу, все же сохранил в себе стремление и любовь к главному и самому дорогому, что есть у человека – к свободе. Все это, вкупе с природой, с землей, которая родит таких удивительных людей, и обдавало как свежим горным воздухом, так и горячим ветром опаленных солнцем полей, писателя таким вдохновением, коего не черпал он никогда и ни в ком.



Мемориальная доска Гоголю на доме в Риме, где он жил и работал

Меж тем, на малой родине его творилось светопреставление.

Узнав о внезапном отъезде Николая Васильевича, Александра опрометью бросилась к Марии Яновне. Она была так шокирована этим известием, что потеряла аппетит. Только накануне, как ей казалось, говорили они о сборе материалов для его нового сборника мало-российских повестей, и она, как любая девица, уже нафантазировала себе свое собственное участие в кропотливой работе писателя. Да и взгляды, которыми одаривал ее кузен, и слова, которые посылал он ей, исполненные искреннего участия и любви, никак не могли вылететь из ее головы. Она терялась в догадках о причинах его отъезда и даже имела неосторожность задать отцу вопрос об объекте своих мыслей.

– Да, пустое, – отмахнулся Иван Афанасьевич. – Что он, что отец его, упокой Господь его душу, всегда странные были. Пойди, разберись, что у них там в головах происходит. Не очень-то переживай относительно него, все равно путного ничего с ним у тебя быть не могло.

Эти слова жестокого и своенравного человека лишь сильнее настроили Александру в пользу Николая Васильевича. Она стала искать причины в себе, в своем безнравственном отношении к крестьянам и к Хоме Бруту в том числе. Вот только о чем никак она не могла подумать, так это о том, что свойственная мелким и ограниченным людям ревность так же будет свойственна и высокому и тонко чувствующему писателю. А потому, как правило, не обнаружив самого лежащего на виду как тщательно спрятанного, отправилась она на второй день мытарств за советом к тетушке.

– Ах, голубка моя, – снисходительно улыбаясь, смотрела на нее Мария Яновна. – Сложный он человек, более, чем сложный.

– Но ведь говорил он о причинах своего отъезда?

– Ни слова не сказал. Несколько дней провел он здесь вместе с Тарасом Шевченко, после чего даже слугу с ним отправил, по чему никак нельзя было догадаться о его отъезде. И вдруг, внезапно, ничего никому не объяснив, упорхнул. Не печалься, голубка, отыщется твой голубь.

– Ну что вы, – смутившись, покраснела Александра и опустила глаза. – Я вовсе не...

– Да уж вижу, как не. Ты скажи мне лучше, что там такое случилось между вами, что стал он приезжать от тебя чернее тучи? То летал как истый голубь, а то стал возвращаться словно ворон подбитый...

– Да вроде... – и только после слов мудрой, прожившей разную жизнь и выдавшей виды Марии Яновны поняла Александра свою ошибку. Но разве могла она предположить, что ее невинные игры с глупым, пустым, ограниченным Хомой, которого она вовсе не считала человеком, а считала своей вещью, так рассердят Николая Васильевича?! Ведь не было в них ничего, что могло бы быть истолковано как симпатия двух людей, как посягательство на что-то, что принадлежало или могло принадлежать Николаю Васильевичу как человеку!

И оттого вернулась Александра Ивановна в имение отца злой, какой никогда не была. Словно выпустив из головы все, что говорил Николай о равенстве между людьми и уважении к низшим сословиям, она опять уверилась в правдивости и правильности слов и действий отца по отношению к крепостным. Словно почуяв гнев молодой барыни, Хома как будто в воздухе растворился и старался не показываться ей на глаза весь вечер – и был прав, ибо она для себя уже давно решила, что, если только встретит его, то велит отвесить столько горячих, сколько выдержит его молодое и сильное тело. В гневе легла она спать, и следующие несколько дней провела в таком состоянии. Злость уже начала затихать, когда от Марии Яновны прилетело известие – сын объявился, прислав ей письмо из Италии, из той самой съемной квартиры, в которой он часто останавливался в Риме, на виа Систина, и в которой даже писал в свое время «Ревизора». Тогда же Мария Яновна дала ей ценный совет, не воспользоваться которым Александра не могла:

– Он же писатель. Как они у себя в столицах говорят, бумагу марает. Для него наши разговоры задушевные – что пустой звук. Так и ты примись его же манерами с ним общаться, и напиши ему.

– Неужели прямо в Рим и написать?

– А почему нет? Пока он там, в настроении пребывает в прекрасном, настроился писать что-то новенькое, ты как раз ко двору придешься. Оно ведь знаешь, как говорят – настоящая любовь в разлуке только закаляется, а, коли не выдержит такого испытания, значит, и не любовь вовсе это была.

Решившись и приготовившись услышать самый неприятный ответ, Александра Ивановна принялась за письмо. Несколько раз рвала она черновик, сердясь на себя саму, на неуклюже и некстати подбираемые слова, которые гений Гоголя мог счесть недостойными своего обще-

ства. Но потом все-таки остановилась на определенной редакции, которую, справедливости ради, отправляла в Рим с тяжелым сердцем.

«Горячо уважаемый и дорогой моему сердцу Николай Васильевич! Теряясь в догадках относительно причин вашего отъезда, я несколько дней обвиняла себя в недальновидном и глупом поведении, что повлекло прекращение нашего с вами общения. И все же, воля ваша, не нахожу я другого разумного объяснения, кроме как моя невинная глупость, ходящая на двух ногах по земле и носящая имя Хома Брут. Хоть не было в наших наивных детских играх ничего, что бы хоть как-то умалило роль вашу в моей жизни, а все же не следовало мне предаваться им перед вами, поскольку я действительно люблю и ценю вас, а, если любишь и ценишь человека, то стараешься оградить его от созерцания подобных мерзостей. Объяснить мое поведение можно редким мужским обществом, тем более столь высокого ранга, к которому принадлежите вы. Но стоит ли искать каких-то оправданий?..

Больше всего на свете не хочется мне терять связи с вами, настолько важны вы стали для меня за эти несколько дней, что буквально вся жизнь моя стала с ног на голову. Разорвись сейчас эта связь, да еще по такому пустяковому поводу – и снова темнота и серость окружают меня, и уж больше не промелькнет в моей жизни даже лучик, не то, что огонь, коим вы стали для меня, осветив мою по судьбе дорогу. Умоляю вас не держать же меня в неведении и как можно скорее сообщить, простили ли вы меня, и не держите ли на меня зла? Прошу только принять во внимание все, что написала я вам выше, и все те чувства, которые руководили моим сумбурным пером при написании этой эпистолы. Благодарю за внимание и прошу прощения за скомканный стиль – видит Бог, он изменится, если только смените вы гнев в моем отношении на милость...»

«Дорогая Саша! Во-первых, не понимаю, почему вдруг ты перешла в общении со мною на вы? Кажется, не происходило между нами ничего такого, что так охладило бы отношения любящих родственников. Даже Христос называл всех на ты, и не терпел иного к себе обращения. Так что прошу тебя съехать снова на ты, и больше не восстанавливать официального стиля ни в письмах, ни в разговорах. Во-вторых, уверяю тебя, что отъезд мой никоим образом не связан был с твоим отношением к крестьянам. Я никогда в жизни не имел мыслей о том, что мое общество для тебя менее ценно, чем общество заезжего бурсака, и, если что меня и задело – так это панибратство с крепостными. Ну да, как прав Тарас Шевченко, это у нас у всех в крови, и изменение отношений произойдет только с полной отменой крепостного права; христианское милосердие и понимание обязывает меня как человека верующего проявлять лояльность и к тебе, и к твоему отцу, и к собственной матери. Так что, ввиду отдаленности темы для обсуждений, предлагаю пока сей вопрос опустить – до лучших времен.

Однако ж, мне как любому человеку свойственна некоторая доля собственничества, которая удовлетворена твоим горячим объяснением – не смогли мы отыскать для него времени, пока были рядом, и только мой отъезд изменил ситуацию, еще раз подтвердив, что все, что ни делается, все к лучшему. Если быть серьезным, то внушила ты мне подтверждение великого Христова учения о милосердии, исповедовать которое я теперь обязан всеми своими трудами, делами и мыслями – внушив, среди прочего, идею нового сборника малороссийских повестей, которые, по моему глубокому убеждению, должны быть «ведьминскими». И потому у меня к тебе будет просьба. Ты, наверняка, знаешь, что в тех краях, откуда мы с тобой родом, широко распространено обвинение людей в ведьмачестве и прочих связях со всякой нечистью. Не могла бы ты, чтобы внести посильную лепту в создание моих скромных работ, провести какую-нибудь работу по поиску доказательств связей сорочинских жителей с чер-

тями, бесенятами и прочими сотрудниками⁹? Клянусь, что этим ты внесешь неоценимый вклад в работу мою, и во всю русскую литературу.

Напоследок попрошу тебя выбросить из головы всякие ревнивые глупости, ибо нам с тобой, как представителя высшего света и дворянам, не к лицу страдать недостатками того общества, которое ты так стараешься от себя отвести. Все прекрасно, здоровье мое позволяет мне трудиться, а чудесный климат и атмосфера Италии настраивают на творчество как никогда ранее. Передавай поклоны маменьке и отцу. Всегда твой, Н.Г.»

Лукавил ли Николай Васильевич, когда говорил о том, что не питает никаких личных обид и оскорблений к Александре и Хоме? Не эти ли обстоятельства в действительности стали причинами его отъезда из Сорочинцев? Конечно, тогда они сыграли определяющую роль в его убытии. Но правы те, кто говорят, что человеческая мысль вкупе с человеческой душой подобны реке, которая изменяется каждую секунду, и невозможно дважды войти в нее, одну и ту же. Обстановка Италии, которая так умилила Гоголя и повлияла на благостное его расположение духа, и впрямь изменила его отношение к Хоме и даже внушила какую-то стыдливость – за то, что он, писатель, человек верующий, стал подвержен такому дьявольскому пороку. Мысль его стала выглядеть и звучать иначе, и первым он не написал Александре потому только, что сам стыдился своего низменного побега. Между тем, отрицать его пользу для творчества писателя было бы глупо. И оттого он был счастлив, что сестра, которая уже в мыслях виделась ему не совсем сестрой (или совсем не сестрой), написала первой, и побудило его это на более глубокую и ответственную работу.

«Дорогой Николенька! Безмерно счастлива я оттого, что ты не держишь на меня зла, и что по-прежнему добр ко мне и открыт. Поручение твое я выполнила с охотой. Ты и впрямь говорил правду, что ведьмины обряды сильно распространены в наших местах. Поговорила об этом с батюшкой, он, правда, мало чего знает, но все же рассказал мне предание о некоем чудище без имени, которое слепо, и восседает, по преданию на лошади, и является ведьмам во время их шабашей и обрядов, в качестве получателя жертвоприношения. Говорят, тут они иногда еще бывают. Так вот этот самый всадник, коему нет имени, является и забирает из рук ведьм невинные души, заблудившиеся в жизни и ставшие их лакомством, а за это дарует ведьмам красоту и молодость и жизнь долгую. Рассказал батюшка, что в детстве еще был свидетелем такого шабаша, который затеяли ведьмы на самой высокой горе близ Сорочинцев проводить – звать ту гору, вроде как Диканька. Оттого такое название ей пошло, что на ней рос в ту пору (и растет теперь) дикий торн, и так его много, что временами кущи становились просто непролазными. Заблудили христианские души приманивала сладкая ягода – идет себе путник, идет по взгорью, собирает ягоды и ест их, и такие они сладкие, что скоро сам не заметит, как уснет. А ведьмы-то и прибирают его, несчастного, к себе, а после приносят в жертву тому самому всаднику, чье имя неизвестно и знают его только колдуньи и оберегают от постороннего вмешательства как зеницу ока. Местные жители часто убивали и изгоняли ведьм, а только совсем их выжить из сорочинских мест не удалось – стали они просто искуснее прятаться, таиться от таких, как мой и твой отцы. Но все равно время от времени виднеются на самой диканькиной макушке костры в полнолуние летом – значит, собрались ведьмы там, куда простому человеку дойти если не невозможно, то уж очень как мудро, и снова делают свое черное дело...

Впредь я буду еще разговаривать с местными бабами, в том числе со старыми крепостными отца, которые, наверняка, знают куда больше, и уверена, что мне удастся по-настоя-

⁹ Таким словом в древности на Руси называли всевозможных помощников дьявола и обитателей ада.

щему помочь тебе, милый брат, с подбором материала. Как настоящая женщина взамен я попрошу тебя указать мое имя где-нибудь в тексте – тебе пустяк, а мне будет приятно.

Так вот же, что я еще подумала об этом всаднике. Библии я в детстве толком не изучала, так как не имели к ней страсти ни мой отец, ни покойная матушка. Ты за несколько дней своего пребывания в Сорочинцах рассказал мне куда больше того, что я знала за всю свою недолгую жизнь. И вспомнился мне рассказ о всадниках Апокалипсиса из «Откровения» Иоанна Богослова. Одному из них было имя Смерть, и говорил он свидетелю: «Иди и смотри». Так вот я думаю – не перекликается ли этот библейский сюжет с рассказом моего отца, не слишком сведущего в Священном Писании? Не оттого ли говорит так всадник, что сам не видит?..

А вообще я часто вспоминаю наши с тобой встречи и беседы. Очень хочется как можно скорее повторить их. Твоя маменька сказала, что ты взял с собой не слишком много денег и тебе может не хватить их для жизни в Италии сравнительно долго. Так вот я прошу тебя – если это действительно случится, то ты по окончании своего лечения в Европе возвращайся снова к нам. Ты ведь сам говорил о том, как дурно влияет на мыслящих людей и тебя в особенности петербургский свет. Так почему бы тогда не приехать назад и уж прямо здесь не закончить работу над новыми малороссийскими повестями? О всаднике ты непременно должен написать, и, быть может, только здесь, на вершине Диканьки, сможешь ты и встретить его... А уж если бы и мне разрешил ты присутствовать при этой встрече, то, видит Бог счастью моему не было бы предела. За сим, понимая, что ты еще не здоров и очень занят работой, не смею более отвлекать тебя. Горячо и нежно любящая всем своим крохотным сердцем, Александра».

Глава пятая. «Мученики ада»

Мария Яновна была права – финансовые возможности Николая Васильевича после провала его «Разъяснения к «Ревизору», ряда других не вполне удачных творений, а также весьма дорогостоящих путешествий, оставляли желать лучшего. Надеясь все же поправить их своим пребыванием в Петербурге, а, возможно, изданием неких новых опусов, Николай Васильевич не внял советам Александры и из Рима возвратился в столицу.

Возвратившийся в Петербург после тепла родной Малороссии и ослепительной вечной римской весны Гоголь был раздавлен теми печальными и мрачными видами, что предстали перед ним в столице. Нелепые, неуклюжие львы на каждом углу, огромный и внушающий ужас шпиль Адмиралтейства, вцепившийся в поводья бешеного коня Петр Великий с лицом, искаженным ненавистью ко всему, что его окружало – такие пейзажи никак не подвигали на творчество. А потому в первое же свое утро Николай Васильевич решил как следует напиться – во-первых, алкоголь здорово помогал от обострившейся в граде Петровом малярии, а во-вторых, созерцать виды этого града может только в стельку пьяный. Компания нашлась быстро – старый друг поэт Языков, прознав о возвращении Николая Васильевича, нарисовался на пороге его дома, где уже два дня проживал слуга Семен, возвратившийся из гостей в Киевской губернии.

– Хорошо, что ты пришел, – зябко кутаясь в длинный плед, помятый и неопрятный Гоголь встречал друга в приемной.

– Ба! Кого я вижу! – как всегда экспрессивный, Языков раскинул руки и приготовился обнять писателя. – Путешественник во времени и пространстве! Неужто домой потянуло? Сколько ты уж здесь?

– Первые сутки.

– Многовато. Пора бы уж и в путь собираться, – в голосе приятеля слышалось явное неудовольствие, вызванное частыми перемещениями писателя по миру.

– Ты-то чем недоволен?

– Тем, что забыл наш круг, чураешься. Ты что, обиделся из-за Белинского? Брось ты этого старого маразматика, он давно уже ругает всех и вся, кроме Пушкина. Как по нем, так чем хуже, тем лучше. Выжил из ума. Вон и на Шевченко с его украинской народностью бросается, а скоро того и гляди запишется к Николаю Палкину в дежурные критиканы.

– Все не Белинский и не его посредственные статьи заставили меня уехать, а мое нездоровье...

– Ну надо же! – собеседник Гоголя все не уставал размахивать руками. – Возвратиться из Иерусалима, от Гроба Господня, больным! Там, где все и всех лечат, ты умудрился подхватить болезнь. Как прикажешь сие понимать?

– Не иначе, как мою дьявольщину, – натянуто улыбнувшись, писатель протянул гостью стакан мадеры. – Тому и подтверждение есть.

– Любопытно, какое?

– А вон, – он кивнул в сторону конторки, на которой лежал завернутый все в тот же потасканный платок наконечник копья Лонгина. Языков с интересом подошел к предмету и стал его осматривать.

– Что это? Не иначе копье Лонгина?

– Оно самое.

– А как же прежде, до вас найденное копье?

– Утверждают, что фальшивка. Но меня сейчас не это занимает. Пусть даже и будет это всего лишь кусок застарелого железа, а все же бытует легенда, что носители копья Лонгина всегда были самыми жестокими диктаторами, воеводами, убийцами одним словом. Как такое возможно? Ведь Лонгин, по сути, облегчил мучения распятого Христа. Так почему тогда его

копье олицетворяет собой зло и дает власть над людьми, но не основанную на Христовом вероучении, на благе, всепрощении и добре, а основанную на жестокости и коварстве?

– Любопытно, – протянул поэт. – А знаешь, тебе с этой находкой следует обратиться в одно общество, общество историков.

Гоголь махнул рукой:

– Обвинят в шарлатанстве. Да я и не претендую на историзм. Ну посуди сам – сколько лет прошло с Христовой смерти? И все эти годы эдакая реликвия валяется, не нужная никому, и ждет появления российского писателя, чтобы сама как лягушка прыгнуть ему в руки? Бред какой-то. Меня скорее философская сторона вопроса занимает, о которой я тебе уже говорил. Если верить историкам и летописцам, то не исключается мысль о том, что Лонгин не есть спаситель Христа, а есть самый настоящий его убийца, в классическом смысле. И тогда смерть Христа может быть рассмотрена под совершенно иным углом, нежели, чем рассматривается теперь.

– Но ведь в смерти Христа вся суть христианства...

– Именно! А представь, если бы ее не было.

– Тогда и грехи наши и отцов наших были бы непрощенными...

– Но Спаситель был бы жив!

– А что толку?

– Ну а что толку в этом твоём пресловутом прощении? – не унимался писатель. – Ты живешь так, будто тебе все и навсегда простили? Ощущаешь ты легкость бытия? Нет, нисколько. Проблем и бед у тебя столько, что можно подумать будто ты, простой петербургский поэт, чуть более веселый и греховный, чем остальные, вовсе не обычный обыватель, а Ирод, Наполеон, Борджиа! Церковь только и увещевает тебя о том, что тебе все прощено и надо немного потерпеть, а сложностей в жизни у тебя изо дня в день не убавляется, а только прибывает.

– Но кому это надо? Кому надо так извращать истинное Христово учение?

– Тому же, кому и врать про Лонгина и его копье.

Слова писателя звучали более, чем убедительно. Приятель подошел к нему и обнял за плечи:

– Вот что я тебе скажу. Ты обязательно должен встретиться с теми людьми. Это очень важно, и от этого многое зависит. Я сейчас напишу тебе адрес, а ты уж будь любезен – найди время и посети их. Только обещай мне наперед, что сделаешь это. Поклянись нашей дружбой или чем хочешь, но сделай. Ты даже не представляешь, насколько это важно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.